

Лев РАЗГОН: *Известия. - 1998. - (акр. 1998) - с. 4*

# Общество забывает, что был 37-й год

Старейший русский писатель, отмечающий 1 апреля свое 90-летие, имеет особое право на такую точку зрения. Международную известность принесли ему автобиографические рассказы «Непридуманное», посвященные годам сталинского террора.

Эти же рассказы помогли писателю найти рукопись его книги «Позавчера и сегодня», написанной еще в лагере, затем утерянной и спустя тридцать с лишним лет возвращенной автору одним из многочисленных читателей «Непридуманного».

— Лев Эммануилович, мы вместе с нашими читателями поздравляем вас с девяностолетием. Какие чувства испытываете вы, по сути, ровесник этого мятежного и трагического века?

— Я хотел бы сказать вот о чем. О нравственном состоянии нашего общества. И это грустные размышления не только об обществе, но и о самом себе. 90 лет — в определенной мере конец жизни, время окончательных итогов.

Я не буду говорить о всей моей жизни. Она долгая, разная, сейчас я хочу сказать о той жизни, которая у меня началась в 55-м году, когда я приехал из лагеря, где провел 17 лет. И про эти 17 лет не стану говорить, я уже написал о них книгу. Но и в самые плохие дни и часы, которые перепадали мне в годы несвободы, я с некоторым злорадством, думал: я им все напомню. Вот если останусь в живых — а я верил, что останусь, это одно из условий существования человека, тому, кто не верит, не выжить, — в самые крутые моменты я был убежден, что если выживу — я им все напомню, я все расскажу. Потому что я был все-таки литератор.

Каждый раз, когда исчезали, уходили, пропадали люди, мне знакомые, — а среди них были необыкновенно интересные личности, — я с отчаянием думал: боже мой, кто их вспомнит? Я так же жил, и там же жил, и то же ел, и так же работал, как все, но вот я жив, а их нет. И когда я освободился, то первая мысль была: ну теперь я смогу вспомнить это. Шел 55-й год, и я понимал, что очень больших возможностей мне не представится, но я был воодушевлен событием, которое произошло за два с половиной года до моего освобождения. Я в лагере пережил смерть Сталина. А я держался сознанием того, что если переживу Сталина, то останусь цел, и что я живу в соревновании с ним. И вот это соревнование я 45 лет тому назад выиграл. С тех пор 5 марта я никогда не бываю трезв. Это мой праздник.

— Вы начали писать о пережитом?

— Я сразу же после освобождения попал на волю в момент хрущевской оттепели. Это была пора, когда возникла наивная вера в то, во что поверили Дубчек, — в возможность социализма с человеческим лицом. И первое время я, конечно, даже не вспоминал о лагере, я входил в новую жизнь. Ну а потом постепенно я начал думать не о сегодняшнем дне, а о вчерашнем. О том, что произошло. И начал по-немножку писать.

— Вы собирались тогда публиковать свои воспоминания?

— Нет, конечно. Я писал для себя, в силу профессиональной привычки: то, что думаешь, записывать, но я бы склонил, если бы сказал, что был уверен, что мои воспоминания никогда не найдут читателя. Написанное, как полный идиот, наивно прятал в старый диван: уж я-то должен был понимать, что если придет, то в диван отыщут.

И вот наступило то, что наступило, — крушение советской власти. Началась другая эра. Я был один из тех вернувшихся, которые верили: необходимо, чтобы прошлое стало известно во всех подробностях. Поэтому что это единственное средство избежать такого же будущего. Я принял активное участие в организации и работе «Мемориала», помогая Андрею Дмитриевичу Сахарову. И потому — это было как чудо — один мой хороший знакомый, работавший в «Огоньке», когда я начал читать мои воспоминания друзьям, сказал: «Дайте мне ваш рассказ «Жена президента». Мы по-

пробуем его напечатать». Коротич умирал от желания напечатать рассказ, но и от страха, что тот будет напечатан. Но он, как говорится, поставил тогда на перестройку и все-таки дал добро на публикацию.

Я много писал, куда интереснее сюжеты были, чем история жены Калинина, но этот рассказ тогда произвел кинжалное впечатление. «Огонек» печатался огромным тиражом, его все читали. И я узнал, что такое популярность... Мой племянник, Леня Разгон, которому было года двадцать два, однажды нарушил движение. Его остановил милиционер и потребовал документы. Взяв паспорт, спросил: «Скажите, это вы сидели в лагере?» — «Да», — скромно опустив глаза, ответил Леня. «Идите и, пожалуйста, не нарушайте...» А потом вдруг пришли ко мне из «Юности», забрали почти все написанное и начали публиковать в журнале, тираж которого был три с половиной миллиона. А затем пришли из издательства «Книга», и у меня вышла книга. И, казалось бы, я достиг того, чего хотел. Вот я пишу, я вспоминаю, и это печатается. Я работаю в обществе «Мемориал», мы собираемся чути ли не памятник грандиозный в Москве поставить. И даже конкурс объявлен. А потом это все стало уходить в песок...

— Работа по восстановлению исторической правды перестала быть нужной?

— То, что произошло в проклятые годы сталинизма, собственно, было самым страшным преступлением в XX столетии. В нашей стране своими же соотечественниками было убито около 20 миллионов человек. Это был геноцид против собственного народа. И он прошел и остался до сих пор практически не замеченным.

Дело не только в том, что все преступления, которые были совершены, остались безнаказанными. И не в том, что государство, которое официально объявило себя право-преемником того, сталинского государства и этим взяло на себя всю ответственность за его преступления, ни разу не извинилось. Не попросило прощения, не покаялось.

Не помню, у кого я прочитал, что когда Аденауэр из поверженной Германии приехал в Иерусалим и у Стены Плача стал на колени и попросил прощения, то с колен поднялась вся германская нация.

Есть что-то чудовищное в том, что весь мир продолжает сопереживать жертвам сталинских преступлений, весь мир, но только не мы!

— Лев Эммануилович, но такое просто невозможно. Сотни тысяч, миллионы людей у нас в стране были потрясены той правдой, которая прорвалась со страниц газет и журналов, книг и с экранов телевизоров. А ваша книга — о ней спорили, ее было не достать в библиотеках, ее одаливали у знакомых...

— Я мог бы сказать, что у меня счастливая писательская судьба. Моя книжка «Непридуманное» вышла на всех почти европейских языках. И продолжает выходить. В России моя книга сегодня не вызывает никакого интереса. Если бы вызывала интерес, то она издавалась и продавалась бы. В последний раз она вышла в 94-м году тиражом 5 тысяч экземпляров, дополненная, под названием «Плен в своем отечестве».

Широкий читатель этой темой сейчас не интересуется. Он интересуется детективами... Общество не хочет вспоминать то время. Удивительно, но во многих странах есть музеи, посвященные тому, что у нас происходило. У нас такого музея нет. В доме Сахарова, в Сахаровском центре, в коридоре висят фо-

тографии, посвященные лагерям, 37-му году. И все.

Поначалу «Мемориал» выпустил несколько потрясающих книг, сборников документов. Но он сумел их напечатать только потому, что получил гранты из зарубежных фондов. Из издания этих книг отдал гонорары своего отца Френсис Грин, сын Грема Грина. Вышли две книжки — списки расстрелянных.

Фонды КГБ были и остаются закрытыми, а архивы МВД на какое-то время приоткрылись, и там мы напоролись на фонд номер 7 — об исполнении расстрелов. И так появилась возможность выпустить две книжки со списками расстрелянных. Но это только по двум кладбищам, по двум местам. А сколько было еще? В 37-м году в Москве иногда за один день расстреливали до двух тысяч человек.

Удивительное дело: наша печать, которую называют «желтенькой», очень любит смаковать ужасы.

С какими жуткими подробностями описывалось убийство царской семьи! Но ведь список жертв ими не исчерпывается. А как вообще мы убивали своих? Вот как убивали немцы, фашисты — это известно во всех подробностях. Как вели, как этапировали, как жгли, как вешали. Все известно. А у нас как было? В одном рассказе я написал, как мне удалось побывать в расстрельном доме на Никольской, где находилась Военная коллегия Верховного суда. Суд длился 10–15 минут, и сразу же после него расстреливали. И вот, еще в разгар «Мемориала», когда членом его совета был Ельцин, у нас возникла мысль устроить там музей. И нам с Евтушенко и покойным Алексеем Адамовичем удалось попасть в этот дом, где тогда помещался военкомат. Пропорщики пустили нас в подвал. Я написал про эти подвалы, про эти пандусы, с которых вытаскивали горы трупов и перебрасывали в машины... Ни один репортер, даже любящий «жареное», никогда об этом не написал. Так же, как никто не написал про страшный дом на Лубянской площади.

— Почему же общество не желает слышать напоминаний о годах террора?

— Немалая часть нашего общества — это люди, сами или генетически замешанные в преступлениях. Посчитайте, сколько нужно было людей для того, чтобы провести через лагеря 15–20 миллионов? Сколько надо было людей, чтобы арестовывать, допрашивать, расстреливать, этапировать? Вероятно, почти столько же, сколько и сидело.

И недаром я всегда цитирую слова Анны Андреевны Ахматовой, которая сказала, когда стали выходить люди из лагерей: «Ну вот, теперь Россия разделится на две части: те, которые сахали, и те, которые сидели». Причем надо учсть и то, что большинство сидевших не дожило, осталось там, в лагерях. А другой части ничто не угрожало, они остались жить. Народили детей и, думаю, генетически передали им — или не генетически, в силу обвязанности воспитывать — свою ненависть к зэкам. А ненависть к зэкам естественна. Ненавидишь всегда тех, кому ты причинил зло. Только этим можно объяснить ту злобу, с которой Жириновский обрушился на закон, по которому этим зэкам хотели подбросить по 500 рублей. При полном зале Жириновский встал и закричал: «Ни копейки! Тем, которые против советской власти выступали, мерзавы? Отнять у них!» И Дума урезала в два раза крошечную паечку. И никто не встал. Никто не поднял голос. А ведь, кроме элдээзэровских горло-

панов и коммунистов, там есть и порядочные люди. Но никто не подошел и не врезал ему по морде.

— Но ведь такое разделение общества, о котором вы говорите, не может быть единственной причиной постигшего его исторического беспамятства...

— Люди не хотят вспоминать былое, потому что им некомфортно от этого становится. Дело в том, что все общество, и прошлое, и настояще, несет ответственность за совершенные преступления. Все мы несем ответственность за то, что было с нами в течение восьмидесяти лет. А мы ее не хотим признать и готовы свалить на кого-нибудь другого. Более того, постепенно, постихоньку, понемножку общество начинает вспоминать 37-й год уже снисходительно. Вот прошлось в печати сообщение, что Верховный суд РФ заменил Абакумову и десятку палачей смертные приговоры двадцать пять годами, хотя все они расстреляны давным-давно.

— Честно говоря, не понимаю, какой вообще был смысл в подобной акции? Как будто у Верховного суда мало других дел!

— А, есть в этом смысл. Палачи все равно расстреляны, но реабилитирована их память. Как бы частичная реабилитация. Родственники их получают определенные права что-то просить. Вот им в отличие от зэков дадут и льготы, и пенсии. Разговоры, что мы идем к гражданско общество, — пустые разговоры. Потому что какое может быть гражданское общество, если мы не осознали до сих пор то, что происходило и происходит. А значит, не сознаем, и какие мы сейчас.

— Получается, мы все в современном нашем обществе нравственно уязвимы?

— Не только уязвимые, но и беззащитные перед теми силами, которые могут встать. Вот так же, как мы беззащитны, например, перед нашим парламентом, извините за выражение, Государственной думой. Мы же сами их выбирали, всю эту компанию! А сколько среди них связано с криминальным миром? С какой ненавистью и отвращением Дума отвергает всяющую попытку лишить депутатов иммунитета, неприкосненности! Железно защищены своим. Парламент представляет общество. Какое же это общество, если у него подобный парламент?

Вот такие грустные у меня мысли накануне моего девяностолетия. Все-таки мои мечты не сбылись. То, на что я надеялся, с чем я пришел на волю, так и не осуществилось. Я чувствую свою вину в этом. Но видит Бог, хотя говорят, один в поле не воин, — я старался быть воином. Я много писал и пишу. И выступаю. По телевидению, по радио. В меру тех возможностей, которые мне дают мой возраст и здоровье. Но главное, к чему я стремился, чего я хотел добиться, не удалось. Ни мне, ни обществу. Это грустные итоги не только моей жизни, не только жизни моего поколения, которое уже почти исчезло, но и тех, кто идет нам на смену.

— Значит, опять остается старое лагерное — «не надейся и не жди»?

— Нет, я жду, я надеюсь. И прежде всего я очень надеюсь на тех, которые сейчас пошли в первый класс.

Елена КОЛЬОВСКА.  
Фото Виктора АХЛОМОВА.

